
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

М. Ф. ШУМЕЙКО

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ИСТОРИКОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ*

Проводится сравнительный анализ эго-документов, созданных в условиях войны историками и архивистами, оказавшимися в разных условиях: в блокадном Ленинграде, советском тылу, на оккупированной врагом территории, в советской административной ссылке. Отмечается значение исторических источников, позволяющих дополнить, уточнить а иногда и опровергнуть официальные документы.

The author presents comparative analysis of ego-documents created by the historians in a war situation: in blockaded Leningrad, Soviet rearward, on the territory occupied by enemies, in Soviet administrative exile. Pointed out is their importance as the historical sources allowing to add, rectify and sometimes even falsify the evidences of the official documents.

Ключевые слова: О. Бергольц; Д. И. Довгялло; Г. А. Князев; Н. М. Никольский; В. И. Пичета; П. П. Смирнов; дневники; воспоминания.

Keywords: O. Bergholtz; D. I. Dovgiallo; G. A. Kniazev; N. M. Nikolski; V. I. Picheta; P. P. Smirnov; diaries; memoirs.

Историки, писавшие и ныне пишущие о Великой Отечественной войне, часто слышат в свой адрес критические замечания о необъективности созданных ими исследований. Большинство таких замечаний

* Статья подготовлена в рамках Государственной программы научных исследований «История. Культура. Общество. Государство» Номер госрегистрации 20113049 от 13.10.2011. В основе статьи — выступление автора на международной научной конференции «Гражданское население в период Второй мировой войны в архивных материалах, исследованиях и воспоминаниях», состоявшейся 23—24 апреля 2014 г. и посвященной 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Шумейка **Міхаіл Фёдаравіч** — дацэнт кафедры крыніцаўства Беларускага дзяржавнага ўніверсітэта, кандыдат гітарычных навук.

исходило от участников событий военных лет и во многом носило справедливый характер. «Я был на другой войне!» — основной рефрен, звучавший в замечаниях, возникавших у бойцов и командиров Красной армии, бойцов «лесного фронта» после знакомства со многими историческими исследованиями, появившимися в послевоенные годы. Можно, таким образом, говорить о имеющем место нарушении одного из основополагающих принципов проверяемости объективности исследований, а именно — узнаваемости событий теми, кто был их участником или очевидцем.

Не ограничиваясь, как их коллеги-историки, документальными и повествовательными источниками, литераторы, кинематографисты, представители изобразительного искусства, широко используя художественные средства и приемы, попытались посмотреть на войну глазами ее участников или очевидцев, включая и собственные наблюдения (автор имеет в виду произведения А. Adamовича, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, Д. Гранина, В. Гросмана, В. Кондратьева, В. Некрасова и др.). Однако не обошлось без критических замечаний. К примеру, очень болезненно реагировал В. Астафьев на экранизацию известной повести одного из вышеперечисленных мастеров художественного слова, в которой особое раздражение у писателя-фронтовика вызвала сцена, где раненая девушка-красноармеец, отвлекая группу проникших в советский тыл немецких диверсантов, исполняла романсы. «Хочется после этого взять утюг и разбить телевизор, по которому показывают такое...»

Принимая упреки по части белых пятен в истории предвоенного и военного времени (сталинские репрессии, просчеты командования, многократно заниженные потери советских войск и др.), историки, писатели никоим образом не должны приижать значения и величия подвига советских людей, совершенного ими в годы войны, справедливо названной Великой Отечественной.

«Не в пример некоторым другим, прежним и последующим войнам, — подчеркивал писатель-фронтовик Василь Быков, — Великая Отечественная война нашего народа против немецко-фашистских захватчиков была войной героической и, безусловно, самой справедливой в нашей истории. Мы победили, это однозначно и непереоценимо как для судеб наших народов, так и для будущего земной цивилизации. Участники этой войны — действительно герои, и прошедшие ее с первого до последнего дня, и вставшие в ее стрелковые цепи на заключительном этапе боев. Хватило всем под завязку. Победили и это главное» [1].

Эта оценка выдающимся белорусским художником слова события, в котором он сам участвовал наряду с миллионами других воинов, может (и должна!) служить своеобразным камертоном нравственного настроя при создании не только художественного, но и историографического полотна Великой Отечественной войны.

Возвращаясь к профессиональному сообществу историков и учитывая тематику конференции 2014 г. — «Гражданское население в период Второй мировой войны в архивных материалах, исследованиях и воспоминаниях», показалось интересным обратить внимание ее участников на то обстоятельство, как в условиях войны у историков формировалось ее видение, какие стороны войны особенно выделялись ими. Зорче других подмечавшие то, что было скрыто от глаз остальных, они уже в ходе войны создавали ее своеобразную психологическую летопись, главным действующим лицом которой были не безликие народные массы, а люди с их переживаниями, страданиями, сомнениями.

Объектом исследования выбраны служители музы Клио, профессионально сформировавшиеся еще в досоветский период и оказавшиеся с началом войны в разных условиях. Среди них — профессор Московского историко-архивного института П. П. Смирнов (1882—1947), не выезжавший из Москвы во время войны; эвакуированный летом 1941 г. вместе с академическим Институтом истории в Ташкент член-корреспондент АН СССР, профессор БГУ и МГУ, академик АН БССР В. И. Пичета (1878—1947); вынужденно оставшийся в оккупированном Минске директор белорусского академического Института истории академик АН БССР Н. М. Никольский (1877—1959); переживший 416 страшных дней ленинградской блокады директор Архива Академии наук СССР Г. А. Князев (1887—1969); высланный в 1939 г. внесудебным Особым совещанием НКВД СССР сроком на пять лет в Южный Казахстан, бывший в 1920—30-е гг. ученым секретарем Археографической комиссии, а затем директором библиотеки Белорусской академии наук Д. И. Довгялло (1868—1942) и др.

Созданные ими во время войны *эго-документы*¹, не предназначавшиеся для обнародования (за исключением, может быть, воспоминаний Н. М. Никольского, написанных «под заказ» и помещенных в партизанском рукописном журнале), представляют важные исторические

¹ Эго-документы — тексты, написанные от первого лица и описывающие действия, положения, чувства, желания, опыт автора в настоящем или прошлом (Ego-Dokumente: Annaherung an den Menschen in der Geschichte/ Ug.von W. Schulze. Berlin, 1996).

источники, характеризующие не только их авторов, но и отношение последних к происходившим событиям, оценки этих событий, их участников, включая и саморефлексию². Часть их опубликована полностью или фрагментами в различных периодических и продолжающихся изданиях, часть ранее уже использовалась в качестве основы при подготовке тематических обзоров, научных статей и др. [3—11].

Выбор в качестве объекта исследования данного корпуса источников может вызвать неоднозначную реакцию как у коллег-исследователей, в большинстве своем привыкших опираться на документы официального происхождения (приказы, отчеты, боевые донесения, журналы боевых действий и т. п.), так и ууважаемых ветеранов, как это отмечалось на примере отклика поэтессы-фронтовика Юлии Друниной на помещенную 9 мая 1990 г. в «Комсомольской правде» статью «Украденная победа», авторы которой привлекли дневники, письма, записки, закрытые инструкции и даже доносы. Ю. Друнина усмотрела в этом едва ли не оскорблениe чувств участников войны и даже кощунство над памятью погибших [12]. Нельзя не вспомнить и более свежий пример, связанный с попытками российского телеканала «Дождь» провести опрос среди жителей бывшего блокадного Ленинграда, вызвавший бурю гнева и возмущения в первую очередь среди тех, кто пережил эту страшную трагедию. Не будем здесь оценивать морально-этическую сторону действий современных тележурналистов, отметим лишь, что и через семь десятилетий, прошедших с момента окончания войны, дают о себе знать раны, нанесенные ею.

Рассматриваемые документы выступают как бы в двух ипостасях: и как собственно исторические источники повествовательного характера, какими по праву считаются личные дневники, переписка, воспоминания, и как историографические источники³. Кстати говоря, эти источники, равно как и аналогичные, находящиеся в архивах, библиотеках, музеях, ставят под сомнение вывод современного белорусского истори-

² Как очень точно подметил познакомившийся с современными публикациями фронтовых писем российский историк, «письма времени войны — это не просто факт жизни ее участников, это целое явление ее истории, относящееся одновременно к пониманию человека на войне и к пониманию человека в тылу этой войны и отражающее одновременно некие душевные состояния человека, находящегося не просто в экстремальной ситуации, но в ситуации, постоянно и реально угрожающей его жизни» [2].

³ К числу последних С. О. Шмидт относит не только печатные труды историков, признающиеся главными историографическими источниками, но и «записи дневникового типа, мемуары и подготовительные материалы к ним... письма ученого...» [13].

ка, утверждающего, что он «не сустракаў ніводнага дзённіка, дзе б чалавек мог падзяліца сваімі думкамі, каб мы маглі нават зрабіць нейкі спецыяльны зрэз: што думалі ў гады вайны» [10, с. 3]. Опровергают они и мнение писателя А. Н. Толстого, утверждавшего, что в «эпоху войны моторов» некогда заниматься ведением дневников [14]. Война, обострив чувства людей, раскрепостила их в условиях, когда до смерти (на передовой, в партизанском лесу, блокадном Ленинграде), говоря словами поэта, «четыре шага». Именно так воспринимаются недавно опубликованные, предельно откровенные дневники жившей в осажденном Ленинграде поэтессы Ольги Берггольц [15].

Какие темы, затрагиваемые авторами рассматриваемых источников, звучат чаще других? Прежде всего это реакция на начало войны как ожидаемое событие; во-вторых, отношение рядовых людей к действиям представителей власти, оказавшейся не всегда на высоте в условиях хаоса и неразберихи, возникавших в первые дни и недели войны; в-третьих, отношение к неприятелю, вначале воспринимавшемуся по аналогии с участниками Первой мировой войны, которую хорошо помнили авторы анализируемых источников; профессиональная деятельность в условиях военного времени; переживания и беспокойство за собственную жизнь, жизнь родных и близких.

Известие о начале войны застало профессора Московского историко-архивного института П. П. Смирнова в подмосковном Ново-Гиреееве, где он жил на даче с семьей. «22 июня 1941 г., — вспоминал московский историк в феврале 1943 г., — у нас на веранде мастер из города чинил нашу пишущую машинку. Вдруг репродуктор радио сообщил о внезапном нападении немцев и о войне. Теоретически войны давно ожидали, но объявление было неожиданно. Настроение было тревожное: подавленная, серьезная тревога у всех. Ловили слухи, старались угадать, что делается там, на границе. Через два-три дня я уже не смог купить в Москве нужных деталей к машинке, потому что служащие в магазинах были заняты спешной работой, разгрузкой своих подвалов, которые приспособлялись под бомбоубежища»⁴.

⁴ Машинописный экземпляр записки П. П. Смирнова «Война и Историко-архивный институт», датированной 10 февраля 1943 г. и составленной на основе личного дневника, который ученый вел с осени 1941 г., хранится в архивном фонде МГИАИ бывшего ЦГАОР г. Москвы (Ф. Р-535. Оп. 1. Д. 337. Л. 60—76). Ее экземпляры находятся также и в личном архивном фонде ученого в Отделе рукописей РГБ (Ф. 279. Карт. 14. № 2). Там же хранится и вышеупомянутый дневник ученого [3, с. 245]. В настоящей статье автор ссылается на имеющуюся копию записи из фонда МГИАИ [16].

Его минский коллега, академик АН БССР Н. М. Никольский, встретил весть о войне за работой над статьей о 20-летнем юбилее БГУ, заканчивавшейся ему газетой «Правда» накануне. «Около 12 часов дня, — писал он в начале 1944 г., находясь в партизанском отряде, куда был вывезен с помощью минских подпольщиков 1 августа 1943 г., — статья была окончена, и я с облегчением и приятным чувством исполнения почетного поручения слушал дневной выпуск “последних известий”. Вдруг раздались заключительные слова диктора: “Внимание! Внимание! Слушайте выступление товарища Молотова!” Все в волнении и тревоге сбежались к аппарату. “...Наглое разбойничье нападение Гитлера... Война без объявления войны... Фашисты сбросили маску... Наше дело правое, победа будет за нами!”» [5, с. 270].

Освещение последующих событий, разумеется, не могло быть схожим как по объективным, так и по субъективным причинам. Так, Минск был захвачен немецкими войсками на седьмой день войны, 28 июня 1941 г., а наиболее критические дни для столицы советского государства пришлись на середину октября 1941 г. С другой стороны, П. П. Смирнов писал свою записку-воспоминания для себя, а Н. М. Никольский — для читателей, хотя круг их был достаточно ограниченным. С учетом последнего обстоятельства Никольский опускает описание событий, связанных с попытками руководства городской администрации организовать эвакуацию мирного населения из белорусской столицы, предоставляя возможность читателям самим сделать вывод о том, что ожидало фактически брошенных на произвол судьбы людей⁵ [17].

⁵ О настроениях интеллигенции белорусской столицы в первые дни войны свидетельствовал один из ее представителей — писатель Рыгор Мурашко, агент спецгруппы НКГБ БССР (руководитель С. И. Казанцев). В составленной им в начале 1944 г. справке об уничтожении и разграблении оккупантами исторических памятников и культурных ценностей г. Минска он писал: «Интеллигенцию охватило настроение подавленности и разочарования, принесенные первыми днями военных событий. Многие не могли бежать из города до прихода немцев не по своей вине... Немало горьких слов было сказано по адресу руководителей ...советских учреждений со стороны подавленных и разочарованных людей из кругов интеллигенции. Часто эти высказывания приобретали форму резкой критики. В большинстве это была критика людей, болевших душой за те разрушения, свидетелями которых им пришлось быть, за все разрушения культурных и материальных ценностей. Они критиковали нераспорядительность некоторых органов Советской власти и отсутствие организаторских способностей... руководителей... допускавших все это. Незначительная часть интеллигенции добровольно пошла не за страх, а за совесть работать к немцам. Часть же вынуждена была устроиться в городской управе и прочих учреждениях, чтобы не оказаться в роли подозрительных или без “аусвайса”...» [17, Д. 611. Л. 19].

Он лишь констатирует, что 24 июня Минск пыпал, начиная с главной, Советской улицы, а жители либо уходили из него, либо прятались по подвалам: «Немцы безжалостно и варварски бомбили Минск с воздуха. Ушли и мы... Мы хотели сесть на поезд в Колодищах, так как из Минска поезда 25 июня уже не ходили. Но когда мы добрались до станции, то там поблизости уже был высажен немецкий десант» [5, с. 270]. Пытаясь добраться до Могилева, 64-летний ученый со своей женой «по старости и слабости не имели для этого сил и вынуждены были осться»⁶ [5; 18].

Схожей выглядела ситуация с П. П. Смирновым: МГИАИ, в котором он работал, в отличие от МГУ и других московских вузов, не попал в список учреждений образования, подлежащих эвакуации. Это не могло не вызвать негативной реакции со стороны ученого: «Помню, что это меня и зволновало, и обидело. Значит, нас бросили, когда остальные куда-то уезжали» [16, л. 62].

Оставшийся в осажденной Москве П. П. Смирнов оказался в гуще драматических событий, развернувшихся здесь в октябрьские дни 1941 г., когда в буквальном смысле слова враг стоял у ворот столицы советского государства. Идя 16 октября в институт, где по-прежнему продолжались занятия, ученый почувствовал, что «в городе недадно». «По Ульяновской улице в направлении к шоссе Энтузиастов⁷ (бывшая Владимирка), — пишет П. П. Смирнов, — наряду с зелеными автомобилями неслись машины, груженые людьми необычного обывательского вида с их имуществом. В институте застал горячечную панику. В коридоре толпились растерянные группы студенток и студентов, которые горячо об-

⁶ Резким контрастом на фоне подобной информации выглядит сообщение постпреда БССР в Москве Финогенова, 4 июля 1941 г. направленное на имя Г. М. Маленкова. В нем сообщалось, что 26 июня 1941 г. ряд ответственных партийных, советских и хозяйственных работников выехали из Минска на своих автомобилях и со своими семьями в Москву. Среди них назывались секретари ЦК КП(б)Б Т. С. Горбунов и Н. И. Прохоров, зав. сельхозотделом ЦК С. М. Гласов, председатель Верховного суда В. Я. Седых и др. Только 2 июля, отмечал Финогенов, часть из них была отправлена из Москвы (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 67). В интерпретации Горбунова, изложенной в сентябре 1969 г. в форме воспоминаний, это выглядело следующим образом: П. К. Пономаренко ему было поручено собрать семьи работников ЦК, СНК и Президиума Верховного Совета республики и на выделенном транспорте добираться до Смоленска, откуда двигаться на Москву, что и было сделано [18, Д. 698. Л. 9, 10].

⁷ Впоследствии за этой улицей у москвичей закрепилось достаточно едкое название «драп-шоссе», обусловленное событиями середины октября 1941 г.

суждали вопрос об уходе из города пешком. Они остановили выходящего из канцелярии... военрука майора Россихина, которого мы все ценили и уважали, и стали спрашивать его о дорогах для пешего выступления из Москвы. Майор стал подробно объяснять, что лучше всего идти по северной дороге на Ярославль, потому что там безопаснее и дорога прикрыта лесом, меньше шансов попасть под пулемет неприятельского самолета. Я стоял и слушал в толпе. Наконец, я не выдержал и спросил майора Россихина: «Это все верно, но можно ли им советовать теперь вот так, пешком бежать из Москвы в неизвестном направлении». Майор ответил: «Я говорю для тех, кто полагается на свои силы». Я не мог уже полагаться на свои силы и особенно на силы своей жены, бросить которую одну в городе даже не приходило мне в голову; приходилось смолчать, потому что я также мало, как и майор, понимал происходившее» [16, л. 63].

Смирнов отмечал, что вся Москва была в панической лихорадке; на почве слухов, что немцы вот-вот займут Москву, происходили инциденты с разграблением мясокомбината, винного завода. «17-го и 18-го [октября], — пишет он, — паника еще не улеглась, но уже началась против нее стихийная реакция. Еще 17-го октября на Андроновской площади кучка людей из стоявших у магазинов очередей останавливали автомобили и высаживали убегавших пассажиров. У кого-то отобрали целый ящик карманных часов, у другого — кадушку масла, у третьего — какую-то шубейку... Характерно то горячее сочувствие, которым пользовались эти акты самоуправства не только в толпе или у нашей уборщицы, которая мне рассказывала о них, но даже у нашей лучшей молодежи, комсомольцев, например, у Тани Урванцевой, которая говорила о них с блестящими глазами, как о справедливом деле. Наконец, остановили на Андроновке машину какого-то генерала, разбили карбюратор и высадили его самого. Поврежденную машину я видел потом своими глазами 18-го октября на углу Б. Андроновки и площади. Вероятно, эти инциденты вывели из пассивного состояния городскую власть... 20-го же октября в городе было объявлено осадное положение. Паника кончилась» [16, л. 64, 65].

Однако и после введения в Москве осадного положения, настроения в городе и за городом, по словам автора воспоминаний, были скверные. Неизвестно откуда появлялись «какие-то старички и старухи», которые «выражались на все стороны, выявляя уверенность в том, что немцы возьмут Москву». Ходили слухи, что Тимошенко застрелился, а Буденного расстреляли; говорили, что причиной всему отсутствие воена-

чальников вроде Суворова или Кутузова, которые только и могли бы победить немцев.

Причину такого «внутреннего диссидентства» среди московских жителей в отношении властей учёный связывал с имевшей место накануне войны чрезмерной, по его мнению, борьбой с опаздываниями и другими нарушениями дисциплины, которую вело правительство. Вызывало ропот среди населения и запрещение выдавать деньги в сберегательных кассах и продавать заем 1938 г. «Все теперь припоминали, о всем судили, нередко злорадствуя и не чувствуя, в какую бездну несчастья катилась страна».

О тяжелой моральной обстановке, царившей среди оставшейся в оккупированном Минске интеллигенции, свидетельствовал и Н. М. Никольский, ссылаясь на имевшие место факты «смены вех» некоторыми из его окружения, бывшими до войны ярыми приверженцами советской власти, а с приходом немцев ставших не менее ярыми прислужниками последних⁸ [19].

Примерно то же и почти такими же словами, но в Ленинграде, на шестьдесят второй день войны фиксирует в дневнике и директор Архива АН СССР Г. А. Князев: «Есть такие мерзавцы, которые не стесняются высказываться в том духе, что им и при немцах не будет хуже. И будто бы есть такие уроды на нашем дворе!» [9, с. 140]. Чуть позже он узнает, что «работница, носящая кирпичи в соседнюю квартиру для устройства огневых точек, говорила кому-то на дворе, что они, женщины, хотят идти в Смольный с требованием сдачи города...» [9, с. 305, 306]. Не комментируя эту информацию, автор дневника далее уже болееrationально и сдержанно размышляет: «Как вся наша жизнь, и жизнь в осажденном городе полна противоречий. Не правы будут и те, кто скажет об одной усталости, угнетенности; неверно будет и утверждение, что среди ленинградцев было лишь одно геройство. Была жизнь, полная противоречий» [9, с. 201].

В конце февраля 1942 г. Г. А. Князев отмечает охватывающую людей обреченность, безнадежность: «Вот эта черта обреченности, неожиданная и страшная. Все мы терпеливо ждем своей судьбы... Очереди *тихие, молчаливые, покорные*» (курсив мой. — М. Ш.) [9, с. 152]. И еще на одно явление — разобщенность людей — обращает внимание нахо-

⁸ Заметим, что эти наблюдения минского историка были копированы редактором, готовившим в начале 1980-х гг. воспоминания Н. М. Никольского к публикации [5, с. 271; 19, с. 7—20].

дящийся в осажденном городе человек с ограниченными возможностями (Г. А. Князев передвигался на инвалидной коляске): «Испытания не сблизили, а разъединили людей, они заставляют людей бороться за существование поодиночке» [9, с. 534]. Печальнее всего, по его мнению, то, что жившие в его академическом (читай — элитном) доме два депутата-коммуниста никак не проявили себя.

В отличие от Г. А. Князева, не дающего оценок высшему политическому руководству страны, ограничиваясь лишь негативными характеристиками рядовых депутатов-коммунистов, Ольга Берггольц предельно критична в своем ленинградском дневнике, прежде всего по отношению к себе, ежедневно выходившей в эфир Ленинградского радио с обращениями к жителям блокадного города. Бросая обвинения в адрес секретаря Ленинградского обкома партии по пропаганде Шумилова, сидящего в «бронированном удобном бомбоубежище» Смольного, в том, что он в такой трагический момент не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова, поэтесса пишет: «Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну — ложь)... надо пойти в госпиталь... Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки... Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах — вздор. Они нужны, чтобы прикрыть отступление Армии. *Сталину не жаль нас, не жаль людей, вожди вообще никогда не думают о людях...* (курсив мой. — М. Ш.)» [15, с. 106].

Схожие с оценками «Ленинградской Мадонны», как именовали жители осажденного города на Неве Ольгу Берггольц, оценки действий И. Сталина встречаются и у вернувшегося из ташкентской эвакуации в Москву В. И. Пичеты. Размышляя в конце декабря 1944 г. о приближающейся смерти, не боясь ее и желая «записать последние месяцы своей жизни», ученый предельно откровенен. Дневник последних трех лет его жизни — своего рода исповедь человека с надломленной психикой⁹ [6], прошедшего, как и Ольга Берггольц, через допросы и одиночное тюремное заключение в ленинградских «Крестах», административную пятилетнюю высылку в Вятку, несправедливые обвинения со стороны белорусских партийных чиновников в разных «измах» и т. п.

В духе князевского и берггольцевского блокадных дневников находившийся в Москве В. И. Пичета пишет: «Мы все великие молчальники.

⁹ О том, что это имело место, свидетельствует авторефлексия ученого, зафиксированная в его дневнике: «Я временами чувствовал упадок духа, и тогда я горько плакал, но я не хотел, чтобы мои слезы видели. Я стыдился своей слабости, но все же плакал» [6, с. 333].

(курсив мой. — *M. III*). Нам разрешено петь “аллилуйя” и “осанна”, но Боже сохрани сказать правду, сказать то, что говорят втихомолку, когда знают, что никто не донесет. Жизнь в Германии строилась на поклонении “фюреру”, а у нас — “вождю”. А, в сущности, мы ничего не знаем о кремлевском затворнике, который отгорожен плотной стеной от народных масс. Всемогущий вождь не знает [ни] народного горя, ни страданий и слез. Не видел он вырождающихся 16-летних мальчиков, слабых и низкорослых¹⁰ [20]. Вероятно, от “радостной” жизни. Слепота и безумие, поддерживаемые хором воспевал, ибо положение всех этих ничтожеств зависит только от благосклонного взора сидящих за Кремлевской стеной» [6, с. 333].

Несмотря на более чем радикальные оценки действий властей, историки не забывали своего главного предназначения — быть летописцами, а также вносить свой вклад в реализацию призыва, объединившего советское общество: «Все для фронта, все для Победы!» И, независимо от того, где они находились — на оккупированной ли территории, в блокадном Ленинграде, Москве; пребывая в эвакуации в Ашхабаде, Ташкенте или в ссылке в Казахстане — каждый из них по мере своих сил и возможностей «приближал как мог этот день Победы».

Разумеется, сложнее всех приходилось тем, кто оказался на оккупированной территории. Только из числа профессорско-преподавательского состава БГУ в оккупированном Минске остались профессоры Н. А. Прилежаев, И. А. Ветохин, Н. М. Никольский, Н. А. Дорожкин, доценты И. Г. Некрашевич, Е. М. Зубкович, И. Н. Сержанин и др. [21]. Почти все они записали свои воспоминания, в которых большое место уделили описанию жизни в условиях оккупации, отношений с оккупационными властями и т. п.

Опрошенные сотрудниками Комиссии по истории Отечественной войны при ЦК КП(б)Б, действовавшей в Москве с лета 1942 г., Н. А. Прилежаев и И. А. Ветохин, выведенные минскими подпольщиками в партизансскую зону, а оттуда самолетом переправленные на «большую землю», рассказывали, что оставшееся население Минска встречало немцев боязливо, ибо обстановка в городе была тяжелой — все горело. «Первые эшелоны немцев, — отмечал Прилежаев, — вели себя

¹⁰ Между тем, по мнению бывшего морского офицера Ю. И. Качанова, шесть раз побывавшего из немецкого плена, прошедшего муки и унижения и воевавшего затем рядовым в разведке: «Войну выиграли, довели до победы дохлые, заморенные мальчишки в шинелях не по росту... Мальчишки — хребет победы» (Цит. по : [20, с. 167]).

очень прилично и сочувствовали населению» [23, л. 41]. Примерно тоже самое говорил и Ветохин: «Отношение оккупантов к населению — вначале было доброжелательное, а потом — подозрительное» [22, л. 64].

Однако уже вскоре начались репрессии, в первую очередь по отношению к мужскому населению, которое сгоняли в огороженные колючей проволокой лагеря, где находилось вместе с военнопленными без пищи и воды. «16 октября 1941 г. — писал Ветохин, — мы впервые, по моему, на улицах Минска увидели виселицу. Количество повешенных было не менее 25 человек. Они были повешены в разных местах по 3—4 и по 5 человек. Руки у повешенных были связаны назад и сзади дощечка была прикреплена с надписью “Мы были партизанами”. Вот, мол, за это мы и повесили их» [22, л. 65].

«Нас, кучку интеллигентии, — рассказывал Прилежаев, — потом вызвали и поручили озабочиться пропитанием для населения, но мы реального ничего не могли сделать, так как склады были все разрушены, а на военном складе было очень немного сухарей и на этом дело кончилось» [22, л. 41].

Как жило население Минска? На этот вопрос отвечают и Н. А. Прилежаев, и Н. М. Никольский. Первый пишет: «Все должны были перейти на самоснабжение. Продавали на базарах, ходили в деревни и выменивали вещи на продукты, организовывали огороды» [22, л. 42]. Второй, заполняя в 1951 г. личный листок по учету кадров, в пресловутой графе о пребывании на территории, временно оккупированной немцами, записал: «С момента оккупации Минска немецко-фашистской армией жил в Минске до 1 августа 1943 г., когда был с семьей вывезен в партизанскую зону, где пробыл (в трех бригадах) до 9 марта 1944 г., когда был эвакуирован на самолете в советский тыл. За время пребывания в оккупированном Минске у немцев не работал, жил продажей вещей, в первой половине 1944 г. поддерживался партизанами. Написал за это время две монографии, опубликованные в Минске в 1948 г.» [23, л. 2].

Эта краткая запись официального характера раскрывается ученым в его воспоминаниях, написанных во время пребывания в партизанском отряде. В них Н. М. Никольский отмечает, что с оккупацией немцами Минска только медицинские работники могли работать по специальности, а прочие устраивались кто как мог: «Одни пошли в немецкие прихлебатели и “пристроились” на “культурной работе”, другие — кто кем: историк — завхозом, литератор — агентом по снабжению, этнограф — кладовщиком, другой историк и биолог — картотечниками в канцелярии. Были и такие, которые никак и никуда устроиться не могли.

Я и сам не стремился устроиться работать на врагов своей Родины, да и при желании не мог бы этого сделать по своему преклонному возрасту, и был зачислен “безработным” по немецкой регистрации. Но фактически безработным не был. Я решил продолжать свою советскую научную работу в полной уверенности, что “наше дело правое, победа будет за нами!” И за два года, прожитые мною в Минске при немецкой оккупации, я написал свою плановую работу 1941 г., а затем написал большую монографию, тема которой была намечена по плану четвертой пятилетки. Эта работа была моей жизнью...» [5, с. 271].

Исполнение профессионального долга, выразившееся в сохранении академического архива, создателем и руководителем которого был Г. А. Князев, удерживало его от приходивших порой мыслей о самоубийстве: «И опять назойливая и отчетливая мысль: не уйти ли вовремя самому?» И в тот же день запись в дневнике: «Ходил сегодня по хранилищам опять с чувством большой подавленности. Но не хочу сдаваться!» [9, с. 778, 779]. И даже вопрос об эвакуации из блокадного Ленинграда он не считал возможным поднимать, расценивая это как дезертирство: «Бросить на произвол судьбы Архив я не могу. Я предпочел бы погибнуть вместе с ним, если так нужно было бы» [9, с. 784].

В усиленной работе находил спасение от «тяжелых мыслей» и «подлого» настроения эвакуированный в Ташкент В. И. Пичета; об этом он сообщал в первой половине 1942 г. находившемуся в эвакуации в Ашхабаде М. Н. Тихомирову. В конце 1942 г. Пичета делится с Тихомировым своими планами о работе для АН БССР над темой о борьбе белорусского народа против интервентов. Ни для В. И. Пичеты, ни для М. Н. Тихомирова не было сомнения в победоносном окончании Великой Отечественной войны. В письме от 16 марта 1942 г. В. И. Пичета пишет о том, как его обрадовала победа под Москвой; в ней он увидел коренной перелом в войне: «Знаю, что в конечном итоге победа будет за нами» [7, с. 225].

Отвечая на это письмо, М. Н. Тихомиров пророчески предполагает, как потомки будут изучать эту войну, участниками которой они с В. И. Пичетой как «люди пера, а не ружья» являются: «Вероятно, будущие поколения станут с осторожением изучать нашу великую историческую эпоху, несомненно более замечательную даже чем 1789—1814 гг. Но как тягостно видеть смерть людей тем, кто живет в эту эпоху. Для будущих поколений она будет овеяна славой, а мы не всегда умеем быть на уровне своей эпохи» [7, с. 225].

Переписка этих двух выдающихся историков раскрывает их мысли, оценки в годы Великой Отечественной войны. Как совершенно точно

подметил автор обзора этой переписки: «Письма М. Н. Тихомирова и В. И. Пичеты характеризуют их как великих тружеников и патриотов. Перспективы развития советской исторической науки им были ясны уже в первые годы Великой Отечественной войны» [7, с. 232].

Однако не только обсуждение профессиональных вопросов занимало историков: их волновали и судьбы родных и близких, оказавшихся в условиях военного лихолетья на оккупированной территории, в действующей армии, в эвакуации. Показательно в этом отношении письмо Д. И. Довгялло, высланного в 1939 г. из Минска в кишлак Пахта-Арал (Южный Казахстан), В. И. Пичете, находившемуся в Ташкенте (письмо датировано 26 ноября 1941 г.). Благодаря адресата за присланные 200 руб., Д. И. Довгялло сочувствует незавидной доле эвакуированного «из пышной столицы СССР в Ташкент» В. И. Пичеты. Далее он сообщает о том, что разыскал почти всех из своей семьи, за исключением среднего сына Константина (как оказалось потом, он погиб на фронте), эвакуированных туда же, где находился в ссылке он сам. «Словом, Казахстан приютил всех моих близких, в том числе и Вас — ближе других», — пишет он. «Как-то устроились с квартирой и питанием?» — спрашивает он Пичету, сообщая ему о растущих ценах на хлеб, жиры, сахар; исчезновении продуктов [11, с. 92, 93].

В заключение отметим, что анализ подобного рода источников — отнюдь не дань модному увлечению микроисторией, историей повседневности, не попытка избежать острых тем, подменив их безопасными сюжетами. Наоборот, в них как раз-таки и проявляются эти самые острые темы, среди которых — поведение отдельно взятой личности в экстремальной ситуации. Через эти конкретные, проанализированные в настоящей статье источники просматриваются такие, имеющие философское, историософское, архивософское значение проблемы, как «Война и личность», «Отношения личности с властью и обществом в условиях войны», «Архивы и война» и многие другие.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Быков В. Так что же сделали с Победой? // Комсомольская правда. 1990. 29 сент.
2. Козлов В. П. Фронтовые письма 1941—1945 гг. как молитвы // Вестн. архивиста. 2010. № 2. С. 25
3. Козлов В. Ф. Материалы заседания Ученого совета МГИАИ, посвященного памяти профессора П. П. Смирнова // Археографический ежегодник (далее АЕ) за 1980 год. М., 1981. С. 243—247.

4. Институт в дни Великой Отечественной войны. Из воспоминаний профессора П.П.Смирнова // Московский ордена «Знак Почета» государственный историко-архивный институт 1930—1980 : сб. док. и материалов. [Б. м.] : Перм. книж. изд-во, 1984. С. 106—109.
5. Воспоминания Н. М. Никольского «Как мы пришли к партизанам» (подг. В. И. Гуленко, М. Ф. Шумейко) // АЕ за 1982 год. М., 1983. С. 268—275.
6. *Пичета В. И.* «Дневниковые записи. 1944—1946 гг.» (подг. Л. И. Уткина) // Российские и славянские исследования : науч. сб. Минск : БГУ, 2009. Вып. 4. С. 333—337.
7. Руколь Б. М. Переписка М. Н. Тихомирова с В. И. Пичетой (1941—1943 гг.) // АЕ за 1982 год. М., 1983. С. 224—232.
8. Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір Іванавіч Пічэт. Мінск : БДУ, 2011. С. 332—348.
9. Георгий Алексеевич Князев. Дни великих испытаний. Дневники 1941—1945. СПб. : Наука, 2009.
10. Беларусь у Вялікай Айчыннай (Палемічны клуб «Звязды») // Звязда. 1990. 22 чэрв. С. 2—3.
11. «Искренне любящий Вас Старик» (письмо Д. И. Довгялло В. И. Пичете) (подг. М. Ф. Шумейко) // Архивы и делопроизводство. 2003. № 6. С. 91—94.
12. Друнина Юлия. «Туча над темной Россией...» // Правда. 1990. 15 сент. С. 3.
13. Шмидт С. О. Некоторые вопросы источниковедения историографии ; *Он же*. Путь историка : избр. тр. по источниковедению и историографии. М. : РГГУ, 1997. С. 119, 122.
14. Вопросы архивоведения. 1965. № 4. С. 15.
15. «...Надо выжить и написать обо всем этом книгу...» Из блокадного дневника О. Ф. Бергольц 1941 г. (подг. Н. А. Стрижкова) // Отечественные архивы. 2014. № 1. С. 101—118.
16. Центральный государственный архив города Москвы. Ф. Р-535. Оп. 1. Д. 337.
17. НАРБ. Ф. 4. Оп. 33а. Д. 611.
18. НАРБ. Ф. 4. Оп. 33а. Д. 698.
19. БГМИВОВ. Изв. № 13264 (Журн. «Партизан Отечественной войны». 1944. № 4. С. 7—20).
20. Сенявская Е. С. Человек на войне: феномен фронтового поколения // Вестн. архивиста. 2005. № 2. С. 167
21. НАРБ. Ф. 4-п. Оп. 33а. Д. 667.
22. НАРБ . Ф. 750. Оп. 1. Д. 118.
23. ЦНА НАН Беларуси. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3502.